



М. МЕНЬШИКОВ

Красивый цинизм

М. Горький. Рассказы. Т. I, II, III, IV. СПб., 1900.

Времена переменчивы..., а люди скоты.
Впрочем, все держится в своих законах, и
человек на земле не более как ничтожная
гнида...

М. Горький. «Тоска»

I

Из глубин народных пришел даровитый писатель и сразу покориł себе всю читающую Россию. Вы догадываетесь, что речь идет о г. Горьком: именно его книги расходятся с неслыханною у нас быстротою, его имя передается из уст в уста в миллионах уголков, где только еще теплится интеллигентная жизнь. Куда бы вдаль вы ни поехали, от Петербурга до Тифлиса и от Варшавы до Владивостока, вы непременно встретите восторженных поклонников этого нового таланта — реже — хулителей его. О г. Горьком говорят, о нем ведут горячие споры...

Что же такое этот г. Горький? Внезапный шум, с которым пронеслось его имя по России, загадочен; он скорее тревожен для писателя. Истинный талант обыкновенно открывается не столь стремительно. Слишком неожиданная слава выпадает на долю не самых тонких художников. К их необычному творчеству толпе приходится привыкать, как людям грубого вкуса — к дорогому вину. Внезапный шум около какого-нибудь имени побуждает думать, что причина его не талант только, а иногда вовсе не талант. Нужно кроме таланта что-нибудь особенное, поражающее внимание публики: та яркая точка, которая гип-

нотизирует. В истории писателей мы постоянно видим, как иной раз совсем постороннее литературе обстоятельство — иногда ничтожное само по себе — чрезвычайно укрепляло славу автора. Некоторые писатели, например, были не слишком даровиты, но носили громкий титул; их печатали, и они тотчас становились весьма известными. Наоборот, целый ряд писателей только тем и приобрели некоторую известность, что вышли из крестьян. Молодой писатель был солдатом и четыре дня пролежал в поле раненым, описал это недурно, с искренностью и простотой — и тотчас имя его загремело по всей России¹. Задумчивый поэт захворал неизлечимой болезнью и умер в расцвете своего таланта². Большой успех вырос в необычайный. Некоторые писатели странно выиграли тем, что побывали в ссылке в Сибири...³ Почти все они, бесспорно, были даровиты, у всех чувствовалось благородное отзывчивое сердце, но в шуме славы их слишком заметно участие какой-нибудь романтической черты, у каждого своей. Иногда, при некотором таланте, писателю достаточно красивой наружности, чтобы составить себе «имя», — достаточно даже эффектной шевелюры...⁴ Правда, одна, хотя бы роскошная, шевелюра еще не даст славы, но, как ноль при единице, подобная мелочь иногда заметно поддерживает известность. Талант, конечно, всегда составляет сердце хорошей славы, но вообще для славы нужны и менее благородные органы.

II

Нет сомнения, что быстрой известностью своей г. Горький обязан прежде всего своему дарованию, но не только ему, и это жаль. Слишком скоро обнаружилось, что г. Горький вышел «из босяков», что он и по рождению, и по образованию — «самородок», долгие годы валявшийся в грязи, человек самолично видевший и переживший все ужасы нищеты, безработицы, бродяжничества, грубого труда и грубой праздности простонародья. Сам г. Горький об этом говорит во многих своих рассказах и даже в особой автобиографии. Чем-чем ему не приходилось быть в жизни! Внук красильщика, сын обойщика, г. Горький еще девятилетним мальчиком был отдан в ученье к сапожнику. Бежал от него и поступил к чертежнику. Бежал от него и поступил к богомазу. Затем очутился поваренком на пароходе. Потом работал у садовника. Потом был пекарем, пек крендели за 3 руб. в месяц. Торговал яблоками. Пилил дрова.

Таскал грузы... После неудачного покушения на самоубийство — был железнодорожным сторожем. Продавал квас баварский. Был писцом. Работал в железнодорожных мастерских и пр., и пр. Какой разнообразный и пестрый курс «самообразования»! Сколько впечатлений острых, подчас трагических! Подобно Гаршину, который действительно был солдатом и действительно лежал раненым среди разлагающихся трупов, на поле битвы, — г. Горький был на самом деле бродягой, на самом деле изранен тысячами язв великого поля жизни... Этот необыкновенный жизненный опыт страшно всех заинтересовал. Такие люди, как путешественники, едущие из неизвестных стран, встречаются с жадным вниманием; они уже знамениты до появления своего на кафедре. Ведь мир отверженных всегда чужой нам мир. Мы, счастливые, тщательно сторонимся от него и можем прожить десятки лет в средних этажах своего дома, десятки раз съездить в Италию, Египет, Шотландию, Норвегию — ни разу не спустившись в подвал, не заглянув в соседний ночлежный дом и тому подобные «трущобы». Темный, огромный, страшный мир, из которого на наших бульварах лишь изредка показываются выходцы, одетые в рубище, с багровыми синяками или бледными землистыми лицами. Они протягивают руки, и мы спешим какой-нибудь мелкою монетой поскорее оттолкнуть от себя гноящегося Лазаря...⁵

Представьте же себе изумление всех так называемых «порядочных людей», «людей из общества», когда смердящий Лазарь вдруг начинает говорить с ними мужественно, языком не только образованного человека, но языком поэта! Уличный бродяга — и вместо уничтоженной мольбы — гордые и гневные укоры, трагическая исповедь за себя и за бесчисленный класс несчастных. Это явление более чем литературное, оно поразило публику не литературною своею стороною. Нижегородский мещанин Пешков, цеховой малярного цеха, заговорил в журналах, «как власть имеющий», заговорил с художественною увлекательностью, раскрывая со страшною откровенностью скандальную сторону нашей общественности. Ведь с обычной буржуазной точки зрения, сословие босяков — это сплошной скандал, это как бы присяжные нарушители общественной тишины и порядка. И вот является писатель, который вводит с собою в приличные гостиные целое полчище этих скандалистов, заставляет их показать публике их рубище и синяки, показать пьяные оргии, драки, воровство, буйство, распутство, их душевное ожесточение, их алкоголический бред. Является писатель и рассказывает, как он однажды осенью, без кварти-

ры и куска хлеба, «выбивал зубами трели в честь голода и холода», как в тщетных поисках съестного в окрестностях города нашел голодную проститутку, подкапывавшуюся под одну лавчонку, чтобы украсть хлеба, — рассказывает, как он помогал ей воровать, как сломал замок, как они, поевши хлеба, спрятались под дырявой опрокинутой лодкой, под дождем и осенним ветром, и как эта избитая любовником проститутка отогревала нашего мерзнувшего автора своими объятиями, своим теплым сердцем... Рассказывает, как втроем с какими-то бродягами он умирал от голода в крымской степи, как они ночью напали на встречного больного рабочего и отняли у него хлеб, один из его товарищей задушил рабочего, ограбил и убежал... Рассказывает, как он пешком брел от Одессы до Тифлиса вдвоем с грузинским князем, питаюсь подаянием, среди тысячи самых рискованных приключений, среди пустынь и гроз. Рассказывает, как сидел в тюрьме, как ночевал осенней ночью под амбарами, среди воров, сутенеров, неисправимых пьяниц, широких натур разбойничьего склада. Заставляет своих героев рассказывать целые поэмы преступной и грязной жизни, которая вся — протест, вся — ненависть против общества, вся — предсмертный стон... Этот внезапно явившийся художник «малярного цеха» развертывает перед воспитанными людьми в лице своих героев циническую философию, и мало того — циническую поэзию, некое горькое очарование, противиться которому нелегко...

III

Можете себе представить, какой — после некоторого оцепенения — неопикуемый скандал почувствовался в нашем благополучном обществе, в нашей выметенной и прибранной литературе! Уже одного этого скандала было бы достаточно для самой оглушительной славы. Но были и другие важные причины, способствовавшие известности г. Горького. Хотя «мужик сивопалый» — нередкий гость в журналах, но в последние 15—20 лет его уже не пускали дальше людской; Акулины и Софроны давно сменились княжнами Кэт и баронами Коко, чистенькими, блестящими, как новенькие куклы. Мы почти уже отвыкли от грязных двуногих, мы уже почти поверили, что род человеческий выделяется из фарфора и папье-маше, и вдруг является г. Горький со своим ужасным человеческим товаром, и вдобавок — живым...

Лет двенадцать тому назад г. Горький был бы, мне кажется, невозможен. Тогда его, может быть, задержали бы на литературных заставах в редакциях; тогда, может быть, он и сам описывал бы мир не босяков, а графов и баронов. Мода, как известно, тиран. Но теперь, в последние лет пять-шесть, г. Горький пришел как раз вовремя, и это тоже одна из тайн его шумной славы. Он пришел вместе с новой умственной волною в русском обществе, в разгар ожесточенных битв народников и марксистов, в разгар обостренного внимания именно к пролетариату. Обоим лагерям, и народникам, и марксистам, сам Бог послал г. Горького: оба лагеря берут его на разрыв. За него же в последнее время ухватился и третий лагерь, представляемый «Гражданином» и «Московскими ведомостями»⁶. Всем понятно, до каких забавных преувеличений в похвалах г. Горькому дошла марксистская критика. Долго не рассуждая, наш автор был вознесен ею превыше первостепенных талантов, провозглашен вождем эпохи⁷. Может быть, тут был кое-какой журнальный расчет, а может быть, и обычная наша искренность, похожая на истерию. Но марксистам не грех сказать лишнее о своем сотруднике, если вот что пишут о г. Горьком в «Гражданине»:

«М. Горький является единственным и неузнанным пока на Руси, в образе художника, апостолом человеколюбия, и это его возвышенное призвание, конечно, вменится ему рано или поздно в заслугу, как великого двигателя русского духовного прозрения и оздоровления... Для такого подвижника писательства, как М. Горький, недостает подходящего скульптора-критика, который, увенчав его чело лаврами, поставил бы его всенародно на подходящем пьедестале, создав заживо достойный памятник ему, сильному и светлому русскому работнику изящной словесности». Вот как в княжеском органе отзывается некий граф о «цеховом малярного цеха»⁸.

IV

Может быть, в похвалах г. Горькому со стороны феодальной печати есть доля коварства, но несомненно то, что и эта печать может извлечь из нашего автора большие выгоды. Для всех лагерей как правдивый художник г. Горький служит иллюстратором их теорий; он всем нужен, все зовут его в свидетели как человека, видевшего предмет спора — народ, и все ступени его упадка. Народники, которые, кажется, первые открыли в Нижнем этого писателя-босяка, говорят: «Поглядите, как ка-

питалистический режим уродует жизнь народную! Поглядите, во что превращается свежий сын земли, оторванный от родной почвы! Вчера еще пахарь и хозяин на земле, орошенной потом его предков, — сегодня бродяга, не имеющий ни кола, ни двора, потерявший даже потребность иметь их. Вчера еще человек крепко сплоченного общества, вся жизнь которого управлялась нравственным началом взаимопомощи, — сегодня он уже вне общества и закона, хищник, не принадлежащий ни к какой организации и во все вносящий только разрушение. Вчера мужик обладал, при всей бедности, душевным равновесием, какое дает всякая культура, сегодня он — при всем случайном богатстве — одержим страшной злобой. Вчера — и душевно, и телесно человек здоровый, сегодня в образе бродяги он и душевно, и телесно больной; он одержим пороками и психозами, он истощен и распатан во всем организме. Вот к чему ведет оторванность человека от земли, от родного деревенского союза, от условий, слагавшихся в течение тысячелетий».

Таково, мне кажется, отношение народников к г. Горькому. Но не успели они оглянуться, как нашим автором завладела молодая партия — марксисты. С энергией, свойственной молодости, они пустили этот свалившийся к ним крупный капитал в очень быстрый оборот. Они прикрепили бедного писателя к журналу⁹ и закричали о нем на весь свет, с трубами и литаврами провозгласили его гением, первым писателем современности, затмившим не только г. Короленко и Чехова, но превзошедшим Гоголя... Для г. Горького устраивались в Петербурге литературные вечера, его всюду возили, выставляли, снимали портреты с него, рекламировали, издавали... Был момент, когда от г. Горького не было проходу, и от излишнего усердия друзей он угрожал даже прогоркнуть для публики...

Упоение Горьким со стороны марксистов имеет свои, очень веские причины. Этот писатель вывел на сцену тот самый общественный класс, который должен в конце концов, в отдаленном, может быть, будущем, осуществить мечты марксизма. Г. Горький вывел человека как последний продукт капиталистического строя, вывел пролетария, т. е. сырого, вышедшего из природы мужика, обработанного, так сказать, азотною кислотой капиталистической эксплуатации. Правда, герои г. Горького не дисциплинированные рабочие фабрик, не люди с твердым сознанием своих прав, но все же это рабочие, — не деревенские мужики. Г. Горький впервые показал огромное и темное сословие людей, хотя и пьяных и истеричных, но страшно озлобленных своею долей, людей тоскующих, несговорчивых, каприз-

ных, выше всего ставящих свободу, готовых на вечную борьбу с буржуазным обществом и уже ведущих эту борьбу. — Поглядите, — могут сказать марксисты, — поглядите, как капиталистический режим перерабатывает глупого сына деревни, как он стирает с него патриархальную покорность судьбе и воловью готовность лезть в ярмо! Что за молодцы эти Макар Чудра, Емельян Пиляй, Артем, Пляши-нога, Челкаш! С каким презрением они говорят о деревенском рабстве, о рабстве земельного труда и сколько мысли вносят в душу народную! Пролетарий — не раб, это человек великого действия, хоть и не наступившего. Надо желать, чтобы весь народ прошел эту страшную школу и воспитался в ней, окреп в свободных инстинктах... Пиляй, Челкаш, пекарь Коновалов, сапожник Орлов — все это продукты капитализма, и последний необходимо развивать, как исполинскую машину, перерабатывающую косную массу народную — в армию вольных рабочих, не связанных землей, сознавших свое центральное положение в обществе...

В таком роде, мне кажется, должны рассуждать марксисты. Г. Горький является для них как бы Гомером будущего, певцом героев, еще не пришедших, но уже выступивших в поход.

Так называемые реакционеры, романтики крепостного строя, в свою очередь, осчастливлены появлением г. Горького. — Поглядите, — могут сказать они, — вот к чему ведет ваш хваленый прогресс! Вот во что претворяется некогда сильный и свежий сын деревни, освобожденный от древних связей, от установлений аристократических и религиозных. Поглядите, до какой степени потеряно старинное смирение народное, довольство своею судьбою, чувство уважения к чему-то высшему. Каждый босяк г. Горького озлоблен на весь мир; он — будучи варваром, невежественным и пьяным, дышит почти байроновским отрицанием. Опасен Герострат, но тут целая армия Геростратов, готовых сжечь священный, строившийся веками храм общественности... Спасибо г. Горькому, наконец-то он изобразил пролетария без либеральных прикрас, во всем цинизме этого типа. Вот оно пятое сословие, вот они тощие фараоновы коровы, которые пожрут жирных!..¹⁰

V

Если все партии удовлетворены писателем, то понятен стремительный рост его известности. Я уверен, что для самого г. Горького его слава является неожиданной и, вероятно, стес-

нительной. Он не может не чувствовать, что во внимании к нему общества слишком много моды, его легко может постичь столь же быстрое забвение. Разве не забыты не менее даровитые беллетристы — Слепцов, Н. Успенский, Новодворский, Куцевский¹¹ и др.? Кто читает нынче Решетникова и даже Помяловского? Для забвения в публике не нужна физическая смерть: можно, обладая некоторым талантом, здравствовать и писать, писать многочисленные романы, но их не будут замечать. Не станем называть имен, — но разве не всем ясно, что еще действующие нестарые беллетристы, гг. X, Y, Z... уже забыты в публике, хотя еще пишут неимоверно много. Они как писатели, в сущности, уже умерли. Их читают, может быть, но уже как мертвых, от них ничего больше не ждут, о них не говорят. Только истинным, большим талантам удастся избежать этой смерти заживо, удастся привязать к своей душе внимание толпы неверной... Сказать кстати, — даже гениям не под силу удерживать во власти своей подряд более одного, двух поколений. Но истинный талант, даже забытый, все же имеет то утешение, что он по природе своей независим от толпы. Современники могут быть ему покорны или нет — он найдет себе читателей в потомстве; если он закатывается как солнце, для одной эпохи, то как солнце же встает для другой. Есть избранные судьбы, от времени до времени воскресающие в памяти человечества, всегда в прежней свежести, доказывая тем, что вечное — всегда современно. Люди, отмеченные гением, видны в безграничной дали, как светила, и для них забвение не страшно. Г. Горькому, пока гениальность его еще спорна, чрезмерная слава может принести глубокое разочарование. Но — с одной стороны — не затем же даровитый писатель несет свое сердце в мир, чтобы покичиться им, и г. Горький достаточно искренен, чтобы оценить рыночную цену «славы», — с другой — от него ведь самого зависит остаться достойным «вечной памяти», если не всех, то хоть немногих избранных... Быть достойным хорошей славы — лучше, чем обладать ею. Посмотрим же, что такое г. Горький, если судить о нем спокойно.

Г. Горький написал уже четыре тома, — все почти маленькие рассказы, но между ними есть одна большая повесть «Фома Гордеев». Казалось бы, багаж достаточный, чтобы судить о творческой состоятельности автора, но сделать решительную оценку ему, мне кажется, еще трудно. В прежнее, более строгое время, по первым четырем томам г. Горького, пожалуй, сказали бы, что это «еще один даровитый неудачник», — теперь этого сказать нельзя. Прежде талант, вроде

г. Горького, не вышел бы из среды народной; с тем же впечатлительным умом, с тою же жаждою жизни, поэзии, страсти г. Горький оставался бы пекарем в какой-нибудь булочной Нижнего или крючником в Одессе. Если же он родился бы в семье богатой и просвещенной, он не написал бы в такое короткое время четырех томов, — т. е. не напечатал бы их, и мы не увидали бы многих бесспорно плохих вещей («Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Ошибка», «Песня о Соколе», «Хан и его сын», «Читатель», «О черте», «Еще о черте» и др.). — Остались бы сжатые на два тома только удачные вещи, и их было бы достаточно, чтобы предсказать автору блестящее будущее. В самом деле, некоторые рассказы г. Горького, особенно некоторые страницы в них, обнаруживают сильный талант, и работай он сплошь с таким одушевлением и чувством правды, мы имели бы в нем первостепенного писателя. В прежнее время г. Горький так и писал бы; можно было поручиться, что обеспеченность, аристократизм вкуса, отвращение к плохой работе не позволили бы автору выпустить ни одной не вполне удачной вещи. Нынче — дело другое. Материальная нужда, соблазн популярности, назойливость издателей, невысокая внутренняя самооценка, — скажем грубо — недостаток вкуса, который требует особого воспитания, — все это толкает молодые таланты к спешной и неразборчивой работе. Г. Горький, по-видимому, не исключение. Он дал доказательство того, что может писать и хорошо, и плохо, и вот это «плохо» может возобладать, заглушить немного прекрасное, на что он способен. Наш автор наверху славы — но еще в начале поприща; он на распутьи, и именно теперь решается роковой для него вопрос — выйдет из него большой писатель или нет. Вместо чрезмерных, прямо нелепых похвал, вместо ожесточенной брани, невыяснившееся крупное дарование г. Горького нуждается в теплом к нему участии, в критике строгой, но снисходительной. Писательский талант, как и всякий, требует долгой школы; лучшею школою является жизнь, если она сколько-нибудь содержательна. Г. Горький еще молод, ему просто нужно еще пожить, чтобы вполне развернуться. Посмотрим, что он даст в сорок лет, в возрасте г. Чехова. Посмотрим, что он даст в пятьдесят лет... Дело общества и литературы — приветствовать всякий, сколько-нибудь искренний талант и постараться оберечь его. Для этого менее всего пригодно идолопоклонство. Оно ложь, а талант, душа которого есть правда, расцветает только в атмосфере правды.

VI

Талант подобен золоту: даже ржавчина его имеет цену. Даже недостатки талантливого художника бывают привлекательны, и часто для читателя они милее достоинств. Г. Горького кто-то назвал «размашистым импрессионистом», и эта характеристика так и осталась за ним. Импрессионизм — и достоинство, и крупный недостаток нашего автора. Вообще это манера опасная, она доступна лишь великим мастерам. Тайна искусства — мера вещей, а импрессионизм есть необузданность, стремление вырваться из границ. Тут природа изображается в момент проникновения ее в чувство художника, и как химические *in statu nascendi**, отличается страшной энергией. И чем эта энергия сильнее, тем необходимее обуздывать хаос ее, вводить ее в закономерные, прекрасные формы, не лишая, сколько возможно, движения. Задача необыкновенно трудная, и на ней происходит крушение неопытных, не сильных дарований. Художника тянет к преувеличению; он начинает изображать небывалые страсти, могучие тела и души, кипучие темпераменты, необычайно широкие или, наоборот, — чрезмерно замкнутые, демонические натуры и т. п. Припомните Марлинского в прозе и Бенедиктова в поэзии¹². При известном даровании получается облагороженная ложь, приподнятая действительность, карикатурные черты которой скрывались феерическим освещением. Как все яркое, такие картины останавливают; отдельные моменты их поражают, производят впечатление, хоть и очень грубое. Толпе феерии нравятся, природа здесь искажена. Как некогда Бог открывался пророку не в громах и бурях, а в тихом дуновении ветра, природа открывается истинному таланту в тишине и холодной ясности созерцания. Живой темперамент г. Горького придает его рассказам характер страстный, яркий, сочный, колоритный, и это, конечно, достоинство, но мера его, к сожалению, не всегда выдержана, и наш автор впадает кое-где в вычурность, в крикливую, холодную жестиколюляцию слов. Таковы его подражательные, явно подсказанные плохим чтением вещи — «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Хан и его сын» или еще более натянутые — «О черте», «Еще о черте», «Читатель». В первых рассказах г. Горький злоупотребляет экономией чувств, во вторых — экономией мысли. Возьмите хоть первый же рассказ первого тома — «Макар Чудра». Вот

* в состоянии зарождения (лат.). — Ред.

превосходный образец талантливой, но насквозь фальшивой работы. Фальшь ее в чрезмерности, которую автор считает за меру, фальшь в кричащей яркости, напоминающей лубочное искусство. У г. Горького если уж вводится цыган, то непременно с «волосатой бронзовой грудью», которую «безжалостно бьют холодные волны ветра». Макар Чудра «полулежал в красивой, свободной и сильной позе... методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма...» Эти «густые клубы дыма изо рта и носа» — мелочь, но забавная и характерная: она тотчас доказывает читателю, что автор или плохо наблюдал или уж чересчур щедро прикрасил картину. Послушайте, каким страшным языком философствует этот цыган: «Смешные они, те твои люди. Сбирались в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля, и умирает, как родился, дураком. Что же, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? (?) Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце?»

VII

Воля ваша, так наши цыгане, кочующие у Черного моря, не разговаривают. Если они говорят по-русски, то как-то иначе, да, вероятно, иначе и думают. Вы чувствуете, что Макар Чудра не цыган, а человек, читавший и «Алеко» Пушкина и «Тараса Бульбу», и статьи гг. Петра Струве и М. И. Туган-Барановского¹³. Г. Горький все же художник; видимо, его самого коробит журнальный язык диких цыган, и он старается пересыпать его междометиями: «Эге!», «ого!», «хе!», «эх», «э-э-э» и пр. Это должно, видите ли, придавать речи характер дикий и народный. Погрешность в языке для писателя — смертный грех, это все равно, что погрешность в рисунке для художника-живописца, Но из приведенных строк рассказа читатель может почувствовать кроме вычурности слога и обыкновенно сопутствующую последней неправду мысли.

Макар Чудра рассказывает невероятно страшную историю о том, как цыган Зобар (совершенно оперное имя) влюбился в красавицу Радду.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия и Чехия, и Словения, и все, что кругом моря, знало его — удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой из жителей не давал Богу клятвы убить Лойко, а он себе жил и, уж коли ему понравится конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня, — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверно бы, крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыло, — это уж как раз!..»

Таким языком ведется рассказ; совсем клише тысячи подобных же размашистых рассказов в старом романтическом жанре. Чувствуется, что автор сочинял своих цыган по Марлинскому, по малороссийским рассказам Гоголя, может быть, даже по Далю или Марко Вовчку¹⁴. «На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее (Радду) и остолбенел. Сидит на коне и смотрит дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля: как молния сверкает; чуть конь ногой топнет... вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно неба кусок».

Магнат сватает цыганку:

«Горит весь, и как ковыль под ветром, качается на седле. Мы задумались.

— А ну-ка дочь, говори! — сказал себе в усы Данила.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данила и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, государь? Голубок ищи, те податливей!..

А тот господин схватил шапку, бросил о землю и поскакал, поскакал так, что земля задрожала. Вот какова была Радда, сокол!»

Скажите, похоже это на правду? Но слушайте дальше.

Появляется Зобар. «Усы легли на плечи (!) и смешались с кудрями вороненой стали, очи, как ясная звезда, горят, а улыбка — целое солнце, ей Богу! Точно его ковали, ковали из одного куса железа с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь. — Эге, будь я проклят» и пр.

Опять-таки, говоря по совести, разве тут не переложено чего-то лишнего? Например, усы, легшие на плечи, или солнце вместо улыбки? Герой г. Горького едет ночью в степи на коне и одновременно играет на скрипке, и до того пленительно, что цыганам захотелось быть «царями над всей землей». Радда

спрашивает, что это за скрипка, — Зобар отвечает: «Я сам делал. И сделал не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мной свиты». Это, видите-ли, живые люди так выражаются, в особенности цыгане, люди простые. Скучно пересказывать невероятно кровавую, вычурную до бессмыслицы историю, как Зобар и Радда полюбили друг друга, но Радда больше всего на свете любила волю и хоть и согласилась идти в жены Зобару, но с тем условием, чтобы он признал ее за мужчину, за старшего товарища, поклонился ей в ноги перед табором и пр. В конце концов кривой нож Зобара очутился в груди Радды. «А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла.

— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко, да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды». Чепуха этой истории тем не кончилась, — умер и Зобар под ножом Данилы.

VIII

Читатель видит, как плох бывает г. Горький, до какой фальши он способен упасть в своей работе. Таких сочиненных, лубочных рассказов у него несколько. Что еще тревожнее — даже в самых сильных своих вещах, он нет-нет да и собьется на романтическую ложь, нет-нет да и пустит «густые клубы дыма изо рта и носа». Г. Горький еще молод, некоторая подражательность ему быча бы простительна — и Пушкин, и Лермонтов невольно подражали в ранние годы. Но они подражали не Марлинскому, не Бенедиктову, а Байрону, и именно за то, что он подражал природе. В работе Байрона они чувствовали правду самой природы, и их подражание не было изменой последней.

Я должен оговориться, что приведенный рассказ г. Горького — самый плохой у него. Если бы и все были в этом роде, не стоило бы даже говорить об этом авторе, его нельзя было бы считать писателем. К счастью, г. Горький дал целый ряд вещей иного качества, где описывает действительно то, что наблюдал. Здесь он вырастает по временам в искреннего и крупного художника. Если вспомнить неудачные дебюты Гоголя или Тургенева, тоже подражательные, хромающие сочинительством,

то ряд плохих вещичек у г. Горького нельзя поставить ему в укор. Талант его, видимо, еще ищет свою дорогу...

Кроме неуравновешенности чувства для дарования г. Горького есть и другая опасность, несравненно более серьезная. Это неуравновешенность мысли, его склонность к рефлексии, к бесплодной умственной суматохе так называемых интеллигентных людей, оторванных от органического быта. Уже в первых и плохих и хороших вещах г. Горького чувствуется тенденция; уже в них художнику, видимо, мало рисунка и красок и хочется пера, чтобы подписать «мораль», хочется отвести душу в проповеди, в споре с читателем. В последних же своих рассказах — «Читатель», «О черте», «Еще о черте», «Мужик» — г. Горький прямо выступает публицистом и разливается в безбрежном и скучном резонерстве. Прекрасный народный язык, которым владеет г. Горький, тотчас блекнет, как только он начинает рассуждать, тотчас начинаются прозаизмы, режущий ухо журнальный жаргон... Прочтите, например, такой период: «В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная торопливость, — мы всегда спешим определить человека как можно скорее. Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а, может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь ни в одну из наших мерок, мешают нам скорее покончить с определением человека» и пр., и пр. Может быть, это и верная мысль, но как в то же время она плоско выражена! Совсем проза, а между тем это отрывок из первой страницы последнего художественного очерка г. Горького — «Мужик». И такую прозой пересыпаны все сцены и разговоры очерка. Вообще, даже в лучших своих вещах г. Горький не в силах скрыть того, что он человек образованный, — в плохих же его начитанность, его «интеллигентность» так и прет в глаза, нагоняя тоску. Герои и героини, если это из образованного класса, то все архиинтеллигентные. «По специальности акушерка, она (героиня) училась еще и за границей, привезла отсюда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако, диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе» и пр. Другая героиня — «Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца... Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело». Или: «Он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и

помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню». Совсем будто из некролога. И разговаривает эта архиинтеллигентная интеллигенция прямо сверхинтеллигентным языком.

— «Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...»

Или: — «Не ново, согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...»

Или: «— Вам бы, милостивый государь, должен быть известен факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты своего класса... Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека, более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и более острую самокритику...»

Так выражается провинциальный доктор, а вот как выражается архитектор:

«Наверное, и все согласятся с тем, что чрезмерно развитой интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство. Даже больше — часто он подтачивает и самый инстинкт жизни... Развиваясь на почве инстинкта, он питается его соками, и хотя он не чужеядное, а коренится в чувстве бытия, с ним родственно объединен и является необходимо присущим человеку стремлением к самосознанию, однако роду его должно бы полагать некоторую границу» и пр. и пр.

Или:

«Жизнь хочет гармоничного человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный, и одна другую оттеняя, всегда все и всегда гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия» и пр., и пр.

IX

Вот как считаешь страниц тридцать таких рассуждений, то покажется, что их довольно. Покажется, что это не люди разговаривают, а передовые статейки или фельетоны, наряженные людьми. У г. Горького, видимо, такая страстная потребность думать и говорить, что он свое художественное созерцание — капитал крупный — тотчас разменивает на журнальные пятаки и сыплет ими без счета в «умных разговорах». Скучно

это. Оставил бы г. Горький этот неподходящий для него род писаний. Лучше бы ему оставить вовсе в стороне образованное общество: оно имеет своих бытописателей. У г. Горького есть свой огромный мир, которого он едва коснулся, который заслуживает не-сравненно более широкого обследования. Один из героев г. Горького (помянутый выше архитектор) говорит: «Я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма... Я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня для свидетельства о страданиях их». Ведь и сам г. Горький может сказать то же самое про себя. Он отпущен снизу, для большого дела — как посол огромного непризнанного царства, воющего с обществом. Он мог бы сказать от имени расстроенного народа давно ожидаемое, давно нужное слово правды... «Придти оттуда (говорит другое лицо, санитарный врач), от тысяч живых, погибающих во мраке людей... взойти на верх жизни и сказать о чувствах, о думах, желаниях этих людей... и потрясти сердца до ужаса, до отчаяния, которое перерождается в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь им... Ведь для этого нужно иметь язык пророка Исаяи... Ведь это... чрезмерно для человека!» Чрезмерно — но г. Горький именно перед такой задачей. Он что-то должен сказать новое, большое...

X

То громкое слово, которое несет из глубин народных г. Горький, не всегда, к сожалению, является народным. Часто оно кажется даже не русским. Читаешь иногда и чувствуешь, что это слово взято автором не из жизни, а вычитано из книг, и даже как будто переводных. Это слово — не Бог весть какое новое. Это — эгоизм, или модная разновидность его — эготизм, обожествление своей плоти, своей личности и материального счастья. Лет тридцать тому назад то же слово называлось нигилизмом, затем разбилось на разные оттенки декадентства. Апостолом нового слова на Западе явился Ницше, цинический философ. С чудесной стремительностью, совсем по-русски, нижегородский беллетрист «малярного цеха» принял евангелие базельского мудреца и, может быть, бессознательно несет его как «новое слово». Босячество и Ницше, — казалось бы, — что общего? На деле оказалось все общее. Через все четыре тома г. Горького проходит нравственное настроение цинизма, столь теперь модное, столь сильное для истеричного нашего време-

ни. Позвольте привести некоторые, хоть и беглые доказательства.

Уже в первом рассказе 1-го тома, восемь лет тому назад, герой его — Макар Чудра проповедует: «Которые умнее, те берут, что есть, которые поглупее — те ничего не получают», и презрительно осмеивает учение о том, что нужно жить по воле Божией. В следующем рассказе Емельян Пиляй доказывает, что «брюхо в человеке — главное дело... как брюхо покойно, значит, и душа жива». — «Права! Вот они, права!» — говорит он, поднося к носу собеседника жилистый кулак. «Клнуть денежного человека по башке — что ни говори, приятно, особенно ежели умеючи дело обставить»... Но Емельян Пиляй — только теоретик насилия, спасовавший, когда дело дошло до убийства, и презирающий себя за это. Следующий герой — Челкаш — не размышляет, а злодействует без тени колебаний и держит себя необыкновенно гордо. Одно лицо из «Ошибки», рассуждая, можно ли убить безнадежно больного, решает: «Морально это или не морально? Во всяком случае это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Герой трагического рассказа «Однажды осенью» трижды проклинает себя за слабость, за то, что веровал в силу, мечтал о переворотах — и очутился в подонках общества... В интересном рассказе (1896 г.) «Мой спутник» опять выводится бессовесная натура — в лице князя Шакро. Это — добродушное, сильное животное, хищник потомственный, не знающий иного нравственного закона, кроме того, чтобы пользоваться чужим, где можно. Проведена тонкая параллель между альтруистом и эгоистом, причем первый — просвещенный и гуманный — оказывается в глупом положении работника у человека дикого и тупого, но твердо убежденного в своем праве быть барином. «Кто силен, тот сам себе закон», — говорит кавказский князь. Дикий и жестокий, он вызывал подчас ненависть к себе, но, говорит автор, — «он умел быть верным самому себе. Это возбуждало во мне уважение к нему»... «В этом требовании (службы ему) был характер, была сила. Он меня поработал, я ему поддавался». Автор раздумывает «о великом несчастье тех людей, которые, вооружившись новой моралью (христианской), новыми желаниями, одиноко ушли вперед и потерялись в жизни и встречаются на дороге своей спутников, чуждых им, не способных их понимать. Тяжела жизнь таких одиноких. Безвольно (?) носятся они в воздухе, как семена добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодородной». После четырехмесячной рабской службы своему спутнику рассказчик был обманут и брошен им

самым мошенническим образом, но он не сердится. «Я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом. Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей».

Чему же, однако, научил автора этот грузинский барин? По-видимому, только тому, как глупо быть добрым, как глупо приносить жертвы ближнему. Это, видите ли, — «старая мораль», мудрость жизни, в противоположность «новой», записанной будто только в фолиантах морали узкой и неглубокой. В противоположность писателям-народникам шестидесятих годов, которые искали человека в звере, г. Горький тщательно ищет зверя в человеке и, найдя его, странно как-то и грустно торжествует. Если зверь красив, силен, молод, бесстрастен — все симпатии автора на его стороне. Видимо, сам г. Горький сердцем еще привязан к морали новой, к заветам Христа, но уже готов считать их заблуждением, книжным отрицанием закона, более жестокого, но действительного.

В следующем рассказе — «Дело с застезжками» — опять выводятся две морали, и представитель старой морали — вор Семка — с великолепным презрением, одной фразой уничтожает представителя христианской совести, Мишку, который нарочно ставится автором в смешное положение. — «Умри ты лучше, пень милый. А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съедят...»

XI

Г. Горькому мало было в ряде рассказов вылить «старую» свою веру — ему потребовалось для этого особая поэма — «Песня о Соколе». Она написана стихами, почему-то разложенными в строку; автору хотелось, видимо, «воспеть» то, что особенно ему дорого. «Песня о Соколе» опять выводит две мудрости, две морали — в лице Сокола и Ужа.

«В ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью». Уж — представитель, видите ли, мирного прозябания, Сокол — представитель борьбы, борьбы кровавой и беспощадной. Уж, прячущийся в ущельях, бегущий от зла, выставлен, так сказать, подлецом, Сокол — героем.

«— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!... Я знаю счастье!... Я храбро бился!. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко! Эх ты, бедняга!

— Ну, что же небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... Тепло и сыро».

Так отвечает Уж, смеясь над вольной птицей. «— И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: — О, если б в небо хоть раз подняться. Врага прижал бы я... к ранам груди... и захлебнулся б моей он кровью! О, счастье битвы!..»

Это — предсмертное завещание Сокола, и будто вся природа подтвердила его «Амен». Гремели волны. «В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!..»

Такова она — старая мораль, вновь воспетая г. Горьким. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», — говорит он, — при этом храбрость понимается не иная какая-нибудь, а боевая, кровавая. Бой должен быть смертельным, с тою сатанинской злобой, когда хочется, чтобы враг захлебнулся вашей кровью, если нельзя умертвить его иначе...

Эта «Песня о Соколе» очень многим нравится, многие из молодежи от нее в восторге. Но мне эта вещь кажется необыкновенно фальшивой и слабой. Не говоря о том, что она плохо написана, кричащими красками, — она насквозь фальшива по нравственному замыслу. Хороша аллегория — лететь к небу, чтобы там подраться, раскровянить и себя, и врага, повыщипывать перья друг у друга, поломать крылья! Прежние поэты небу давали другое употребление. Вспомните: «По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел». Та старая песня была не о Соколе или другой птице, а о «Боге великом...» Маленькая разница! Современный поэт заменяет ангела хищной птицей и поет «безумство храбрых». Но даже и с птичьей точки зрения — в чем же храбрость безумного Сокола? Как известно, соколы нападают не Бог весть на каких страшных врагов — всего лишь на диких уток, гусей, куропаток и т. п. По аллегории г. Горького выходит, что утки и куропатки тиранят соколов, и тем приходится отстаивать свою свободу и «жажду к свету». Забавно это очень. Но публика и молодежь не замечают комических черт «Песни» и бешено аплодируют ей, когда слышат со сцены. Тут, видите ли, «борьба», а уж если борьба, то все равно для какой цели и какими средствами — от одного звука «борьба» в кое-каких слоях принято приходить в восторг.

Наше интеллигентное общество, сплошь состоящее на жалованьи, наша молодежь, поголовно стремящаяся попасть на казенные хлеба, — все-таки любят пощекотать свои нервы этим странным словом... Как типический интеллигент-пролетарий, в котором дух народный совсем выдохся, г. Горький со своею «старой мудростью» попал как раз в тон своему времени, в тон обществу, где читают Ницше. Борьба... Мне вспоминается бедный, кроткий Надсон, который не только мухи никогда не обидел, но которому самая мысль о кровавой борьбе казалась ужасной. В дружеской беседе от отвергал всякий терроризм, а в стихах у него «борьба» рассыпана чуть ли не в каждом стихотворении, иногда по нескольку раз. И нет сомнения, эта «борьба», для публики звучавшая иначе, была одною из главных пружин неслыханного успеха Надсона. Нечто подобное повторяется с г. Горьким, и это жаль. Еще более жаль, если «безумство храбрых» для г. Горького не красивая только фраза, а действительно убеждение...

ХП

Проследим дальше, страница за страницей, нравственную веру автора. Следующий рассказ (1896 г.) «На плотях». Волга, ночь, плоты; на руле — хилый Митя, сын сплавщика, и Сергей, рыжий работник. На переднем конце — сам сплавщик, мощный старик, с женою Мити. Опять две мудрости, две морали. Христианская изображена в виде хилого, дряблого праведника, языческая — в виде здорового, могучего человека-зверя. Старик, на глазах сына и работника, живет со снохою, и спокоен, и счастлив. Это, по г. Горькому, — «человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью». В чем же жизнеспособность? А в том, чтобы отнять у больного сына красивую его бабу, переступить всякий закон, всякую совесть. Г. Горький не может в досталь налюбоваться на своего героя: «Герой у тебя отец-то, — говорит работник, который весь на стороне старика. — Смотри-ка, 52 ему, а он какую кралечку милует! Сок один баба!» Работник поддразнивает бедного Митю, смеясь над его чистотой и «мудростью», над его моралью. «На том конце плота жили и его возбуждали к жизни», — говорит г. Горький, не замечая, что вся «жизнь» заключалась лишь в том, что здоровый старик обнимал чужую бабу. «Думы! Ха!.. — издевается работник: — Вон, глянь-ко, отец-то твой не мудрит — живет. Милу-

ет твою жену, да подсмеивается над тобой, дураком мудрым»... Этот преступный человек, который «не мудрит — живет», смеялся над страданиями сына — изображен каким-то тираном. Имя ему — Силан — намек на силу его, — он стоит «в широкой красной рубахе, с растегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь» и пр. Г. Горький мог бы, конечно, подметить, что снохачи в народе — не все богатыри, а часто совсем лядящие старичонки, но тут, видите ли, нужно показать сверхчеловека, чувствуется страстное желание опозитизировать его, оправдать. Силан — красавец и силач, он переполнен «жизнью», и ему в уста влагаются такие речи: «Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну-ка что-ж? Подержу ответ Господу... Грех! Все знаю! И все преступил. Потому — стоит! Один раз на свете-то живут»... Когда Митя просит отца бросить этот грех, сверхчеловек отвечает совсем по Ницше:

«Сын мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку себе я родил тебя, выродка!..» Когда сын говорит — али я виноват? Отец отвечает: «Виноват, комар пискливый! Потому — камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь... Мертвечина, мол ты, стерва тухлая. Кабы ты здоров был, хоть бы убить тебя можно было...» Силан еще не убил сына, но мечтает о его смерти. Остатки совести еще где-то шевелятся в старике: «Жаль тебя, кикимору несчастную», — но сверхчеловек презирает в себе эту жалость: «Эх, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эх-ма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может быть, так и затайем друг друга». Помечтав о смерти сына, почтенный старик, по словам г. Горького, чувствует «мощный прилив энергии и бодрости в своей широкой груди».

В следующем большом рассказе «Тоска» опять выводятся две мудрости — добродетельный учитель, умирающий от чухотки, и здоровый рабочий Кузьма Косяк, красавец и прелюбодей. Учитель строчит корреспонденции и задыхается в нищете, а сверхчеловек живет в свое удовольствие, соблазняет походя девок и баб, и бросает с великолепным, невозмутимым спокойствием сытого зверя. Страницы прощания Кузьмы с Матреной превосходны; видимо, г. Горький глубоко перечувствовал психологию и мораль подобных героев.

«— А меня-то? Кузя, меня-то? (говорит с отчаянием девушка). Я-то куда денусь от тебя? Подумай-ка? Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?»

— Тебя-то, тебя-то... А тебя я здесь оставляю... За вдового Чек-марева замуж выйдешь... Сошлись мы с тобой по-любую, ну, и пришло вот время разойтись. Жить надо и так и этак — во всю чтобы! А ты нюнишь! Дурашка!..»

Этот веселый зверь, губящий девок и прижитых ребят, дает как бы откровение затосковавшему в благополучии своему хозяину — мельнику. Тот едет в город развратничать и кутить — как бы в пику чахоточному учителю с его «стопудовой добродетелью». Это называется — «возобновился человек».

XIII

Таково нравственное настроение г. Горького в первом томе. Не будем пересматривать следующие. Хотя с каждым годом талант нашего автора крепнет, хотя к босякам начинается менее пристрастное отношение, но мораль и «мудрость жизни» остаются прежними. Физическая сила, красота, сладострастие, разгул безбрежный, свобода от «стопудовой добродетели» — вот что представлено как радость жизни, и пророки этой старой веры все богатыри, сверхчеловеки. Припомните красавицу Мальву на рыбных промыслах, свободную, гордую, распутную или колоссального красавца Артема, живущего на содержании у купчих и торговок, или красавца-солдата из «Двадцать шесть и одна». Даже изображая отчаянных мерзавцев вроде Васьки Красного, палача при публичном доме, или дворянина Промтова («Проходимец»), г. Горький придает их силе и хитрости какой-то сочный, почти красивый оттенок, а душевная чистота и кротость почти неизменно воплощаются в безобразных и хилых людей. Таков жалкий Каин, затравленный еврей, таков вор Уповающий («Дружки»), человек жалостливый — и поэтому автор изображает его в последнем градусе чахотки. Говоря, что волки лучше приспособлены к борьбе за жизнь, чем иные люди, г. Горький морализирует: «...хотя их убивают, но их боятся: у них есть когти и зубы для самозащиты, а главное — сердца их ничем не смягчены. Последнее очень важно, ибо для того чтобы побеждать в борьбе за существование, человек должен иметь или много ума, или сердце зверя». В рассказе «Читатель» (1898 г.) некий читатель и черт, им прикинувшийся, говорит автору: «Пойми, твое право проповедовать должно иметь достаточное основание в твоей способности возбуждать в людях искренние чувства, которыми, как молотками, одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того,

чтобы создать другие, более свободные, на место тесных. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все на земле».

Как видите, г. Горький не из тех писателей, которые стремятся возбуждать «чувства добрые». Гнев, ненависть, отвращение, злое отчаяние... А отчаяние, хотя бы злое, должно, как мы видели выше, переродиться «в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь (несчастным)». Каким образом злое чувство может быть источником добрых поступков — это секрет нашего автора. Это совсем новая психология: чтобы возбудить сострадание, нужно покончить с совестью. Поход против совести тянется во всех четырех томах г. Горького — параллельно с нескрываемым сочувствием к жертвам бессовестности. Видимо, талант выручает автора из нравственной его ошибки. Талант дает правдивую картину, которая действует совсем наоборот «морали», подписываемой автором.

Самое крупное произведение г. Горького — «Фома Гордеев», написанное в 1899-м году, продолжает ту же проповедь. Это целый роман и заслуживает особой беседы, теперь же припомните суть его. Отец Гордеева — Игнат — рисуется в своем роде как «сверхчеловек». Он из рабочего водолива сделался миллионером. «Богатырски сложенный, красивый и неглупый, он (по словам г. Горького) был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и помимо своего желания не знают иного закона. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с нею, но совесть — это сила непобедимая лишь для *слабых духом**; сильные же быстро овладевают ею и порабощают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что если дать ей простор и свободу, то она изломает жизнь. Они приносят ей в жертву дни; если же случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же здорово и сильно живут под ее началом, как жили и без нее...»

Тщетно ищешь хоть оттенков иронии в этих страшных еловах: «совесть — сила непобедимая лишь для слабых духом». Наш автор, видимо, искренно исповедует то, что пишет, и весь роман является иллюстрацией к этой формуле. Богатырю Игнату Гордееву, человеку хищному и распутному — попадает

* Курсив мой.

благочестивая жена из уральских молоканок¹⁵. Рождается сын Фома, человек потерянный, пьяница и резонер. В нем унаследованное от матери чувство совести не переродило породу отца, а только испортило ее. В то время как люди с пониженной совестью двигают жизнь, создают новый культурный строй, вводят новые начала — а главное, живут, гордые своими хищничеством, счастливые, — молодой миллионер, отравленный совестью, ничего не может придумать иного, кроме бесплодных угрызений, бессильной ненависти против своего общества и пьяного распутства, будто бы от «тоски». Люди, «сильные духом», — Маякины, отец и сын, Смолин и другие, свободные от «стопудовой добродетели», текут в романе могучею струею к весьма определенной цели — к богатству, власти, почету, наслаждению, — люди же с беспокойной совестью — и миллионер и пролетарии (вроде журналиста Ежова) мутно плывут у берегов, останавливаясь и кружась в каком-то водовороте мысли и себе, и людям на горе.

Чтобы оттенить трагическое положение зараженного совестью и потому полоумного несчастного Фомы Гордеева, г. Горький выдвинул титаническую фигуру Якова Маякина, поволжского миллионера. Это неукротимый хищник, но бессовестность его не только не мучит его, но представлена как настроение свежее, ясное, счастливое. В уста Маякина г. Горький влагает сильные, умные, трезвые речи, глубоко народный язык и ясную до жестокости мораль. Вы без труда поймете, что это тоже сверхчеловек, и что симпатии г. Горького — на его стороне. Вот какое предсмертное завещание сочиняет для него автор: «Ну, ребята, живите богато! Поел Яков всяких злаков, значит, Якову пора и со двора... Видите, умираю, и не унываю... И это мне господь зачтет... Я Его, Всеблагого, только шутками беспокоил, а стопами и жалобами — никогда! Ох! Господи! Рад я, что умеючи пожил... по милости Твоей! Живите дружно... и не мудрствуйте очень-то. Знайте, не тот свят, что от греха прячется да спокойненько лежит... А кто хочет от жизни толку добыться, тот греха не боится... Ошибку Господь ему простит...»

XIV

«Не бойтесь греха» — вот то громкое слово, которое несет с собою г. Горький. Другое попутное — призыв к помощи тем, кто гибнет на дне жизни, — звучит около первого холодной фразой...

Г. Горький имеет свое особенное преимущество перед другими беллетристами. Не пройдя никакой школы, он в некотором важном отношении образованнее их всех. Он прошел курс простонародной жизни, они — нет. В то время как писатели из других классов общества изучали латинские спряжения, г. Горький изучал живой народный язык. Они изучали то, что когда-то было или никогда не было, он — то, что есть. Они изучали институты Гайя¹⁶, догмы и энциклопедии прав, а он изучал голод. Постепенно, методически он проходил отчаяние, изучал злобу, исследовал сладострастие, пьянство, ужас одиночества в пустыне, упоение этим одиночеством. Он проходил многолетний курс труда сверхсильного, он знает, что такое усталость, знает ощущение отдыха, радость и горе миллионов человеческих существ, составляющих правило в человечестве, а не исключение. Г. Горький видел собственными глазами океан народа и, так сказать, плывал в нем среди тысячи чудес этой подводной жизни, интеллигентному человеку недоступной. Г. Горький собственными руками перещупал материю во всех ее видах, как маляр, сапожник, садовник, чертежник, повар, булочник, крючник и пр., и пр. Он собственными ногами перещупал земную поверхность на огромном пространстве от Волги до Бессарабии и до Тифлиса. Г. Горький дышал воздухом степей и гор, он много странствовал по берегам морей и рек — природа открывала ему свои немые тайны. Наконец, пережив целые десятилетия суровой нужды, наш автор прошел великую школу страдания, которая образует одаренную душу лучше всяких фолиантов. Поистине г. Горький может гордиться своим знанием, и именно тем, которое иным путем нельзя нажить. Подобно тому как, читая Тургенева и Толстого, чувствуешь бесспорно, что эти авторы изучили свой мир и самолично пережили, перечувствовали в себе своих изящных героев и героинь, так, читая г. Горького, всегда убежден, что он видел то, что описывает, самолично пережил в себе самом душу своих бродяг, воров, проституток и чернорабочих, что он вместил в себя их природу...

Но, вы скажете, все-таки жаль, что сверх того даровитый автор не получил обыкновенного образования. На это я замечу, что он, к сожалению, получил и обыкновенное образование, т. е. путем непрерывного чтения книг приобрел все, так называемое «развитие», отличающее интеллигенцию от народа. Читаешь г. Горького и убеждаешься, что он вполне на уровне своего века и совсем законченный «интеллигент». Ему все «проклятые вопросы» так же близко известны, как любому акцизному

чиновнику с университетским дипломом или уездному врачу. Кроме «проклятых» ему известен и миллион глупых вопросов, которыми наполняется наша праздность, и это поистине жаль. Книжное развитие не усиливает таланта, оно заметно истощает свежесть его и оригинальность. На человека чаще всего книга действует, как на сорванный цветок: между ее страницами живое существо сплющивается, засыхает, из трех измерений теряет, по крайней мере, одно. Все мы, так называемые люди интеллигентные, существа как бы двух измерений, и отсюда наша неудовлетворенность жизнью, неизвестная предкам. Г. Горький едва ли много приобрел, читая книги и журналы, но потерял много. Читая его, во многих местах чувствуешь, как связывает его книжное внушение, как свежий и сильный талант бьется в сетке общепринятых и модных предрассудков. Босяки, бродяги, дети земли у него подчас рассуждают совсем как будто только что начитались переводных книжек и журналов. Может быть, как я скажу ниже, им и по природе свойственно так рассуждать, но очень многое, видимо, автор им навязывает и от себя. Голос г. Горького, к сожалению, вовсе не есть голос народный; в лучшем случае это — голос отбросов народных — босяков.

XV

Сказать кстати, эта черта почти всех писателей, выходящих из народа. Как бабочка, вылетевшая из кризалиды¹⁷, крестьянин-писатель совсем уже не напоминает крестьянина и хотя носит иногда, из кокетства, полушубок и валенки, — душой своей вполне «интеллигент», т. е. человек с книжными мыслями, журнальными мечтами, с бумажным отношением к миру. Нынче довольно много писателей из народа; некоторые из них пишут на деревенские темы (если это поэты, то безбожно обкрадывая Кольцова и Никитина¹⁸). Читая их, вы чувствуете, что это люди чужие деревне, что они хорошо знают деревню, но уже не понимают ее. Кровные мужики, они хуже понимают душу мужицкую, нежели понимали ее некоторые писатели-аристократы, вроде Тургенева или Толстого. Конечно, тут много значит и размер таланта: крестьяне-писатели обыкновенно недаровиты. Народные таланты, как известно, стремятся чаще всего в купцы, промышленники, техники, наконец — в чиновники, наполняя собою беспрерывно вырождающуюся интеллигенцию. Прямо от сохи не являлось ни одного гения. Множе-

ство дарований, тонких и артистических, роковым образом гибнут то за прилавком, то по заводским и конторским углам. Может быть, загадочный разгул купеческий иногда не что иное, как конвульсии таланта, задыхающегося в слишком узком ремесле. Что-то мешает даровитым крестьянам тотчас занимать свое настоящее место в обществе, и вовсе не недоступность образования. Почти треть населения уже грамотна, так что можно считать, что в России, наряду с безграмотным, уже есть как бы сорокамиллионное государство вполне грамотное: почему же оно не выдвигает новые ряды талантов? Я думаю, препятствует этому не недоступность образования, а, как это ни странно, скорее обратная причина. Именно, образованность, встречая выходящий из народа талант, часто обезличивает его до посредственности, отнимая самую соль таланта — оригинальность. Вы подумайте только, какой груз понятий, совсем чуждых, наваливается на свежую душу народную, лишь только она распахнется для цивилизации. На тонкую работу целых поколений деревенской культуры, на замкнутую в себе организацию чувств и мыслей накладывается миллион штемпелей, миллион представлений самых сложных и неожиданных — с общим покоряющим внушением, что это-то и есть настоящее, что это-то и дает «образ» человеку. Первое поколение, выходящее из народа, бывает энергично и даровито лишь в той среде, где образованность близка к прежней: в среде купеческой; входя же в интеллигенцию, мужик бывает обыкновенно ошеломлен, подавлен и несомненно понижен в своей душевной силе. Таков даже Ломоносов, который не сделался гениальным, может быть, только потому, что слишком был пришиблен европейской школой. Нужен ряд поколений, прошедших новую умственную культуру, чтобы гений народный выпрямился и проявил себя свободно, но тогда писатель оказывается уже вышедшим не из народа. Прадед — крестьянин, дед — купец или священник, отец — чиновник и дворянин; вот генеалогия многих талантливых писателей, вышедших не из народа. На г. Горьком заметно действие этого закона. Он вышел не из деревни, а из городских мещан — слоя уже несколько оцивилизованного, хотя бы без посредства школы. Уже дед г. Горького — грамотный, как видно из его автобиографии. Городские влияния исподволь ложились на эту породу. Но быстрый выход нашего автора из рабочих в люди образованные все же не прошел ему даром.

XVI

Вчитывайтесь внимательно — вы заметите, что все достоинства свои г. Горький принес с собой, все недостатки — приобрел в образованном кругу. Глубокое чувство природы, страстное влечение к ее красоте — это вынесено г. Горьким не из книг. Удивительно богатый, образный, звучный, цветной язык народный — очевидно, заимствован у народа, а не из книг, знание жизни отверженных, их психологии и философии — почерпнуто не из книг. Но лжеромантизм, склонность к вычурной размашистости — влияние явно книжное. Народ правдивее и строже в языке, он никогда не употребляет гипербол, по крайней мере, в серьезной речи. Затем этот разлагающий живое чувство анализ, эта неугомонная рефлексия, в которую впадает часто г. Горький, это «психологическое ковырянье» — все это, увы! давно знакомые нам неврозы интеллигентной образованности. Видимо, могучего природного сложения, душа автора все-таки сильно расшатана столкновениями и борьбой с мирозерцаниями, ей слишком новыми, образованность книжная отразилась на нем какой-то умственной неврастенией — состоянием острым и тонким, но болезненным. Г. Горький «интеллигент» и даже в высшей степени, но таких у нас великое множество, и вовсе не «интеллигент» нам нужен. Мы ждем от него голоса души народной, а вовсе не вариаций на журнальные мотивы. Мы ждем от него голоса самой природы, и он иногда в состоянии говорить от ее имени, но не всегда. Сильный талант его, видимо, все еще не доверяет себе, все еще во власти посторонних ощущений. Это рабство пред «образованностью», пред мнимым светом школы и книги — самая серьезная опасность для г. Горького, и пока — главная причина его недостатков. Во что бы то ни стало он должен одолеть в себе власть книги и вернуться к прирожденному самодержавию таланта. Он из тех немногих, которые призваны изучать не от тиски жизни на бумаге, а самую жизнь во всей ее сырой непосредственности. Сама же жизнь не только ярче и истиннее книжных изображений, но и спокойнее их. Она менее истерична, в ней больше вечной мудрости, спасающей от лжи. И вот я думаю, что вовсе не жизнь подсказала г. Горькому его нравственное мирозерцание, тот цинизм, о котором мы говорили выше. Это мирозерцание вовсе не народное. Мне кажется, в нем много книжного, может быть, невольного заимствованного со стороны. Народ, органически сложившийся на земле и правильно растущий на ней, как строевой лес, держится вовсе не

борьбою за существование, а взаимопомощью, и инстинкты звериной борьбы в нем скованы инстинктами мира. Идеалы насилия, захвата, торжества, свободы похоти — идеалы вовсе не крестьянские. Здоровый народ всегда религиозен в хорошем христианском смысле этого слова. Нутром своим мужик чувствует нравственный закон как условие блага и на уклонение от этого закона смотрит, как на зло, ведущее к смерти. Здоровый народ боится греха и презирает его, не давая себе в том отчета. Как бессознательно выработалось у нас отвращение к некоторым насекомым и гадам, в народе в течение веков выработалось безотчетное отвращение к некоторым поступкам, и только эту безотчетную нравственностью, основанную на глубоком признании закона жизни, последняя и держится. Ни в какой стране народ не может рассуждать, как Ницше, не может додуматься до злого сверхчеловека. Такой человек всюду понимается как «негодяй», т. е. человек, негодный к жизни. Это — разбойник, его боятся, как гада, и всюду истребляют. Напротив, все народы, начиная с глубокой древности, додумались до доброго сверхчеловека, будет ли это народный заступник от внешних бед вроде Геркулеса, Самсона¹⁹ или Ильи Муромца, — или такой же заступник от зла внутреннего — человек праведный, вроде Иова²⁰ или христианских подвижников. Народ в своей массе из века в век тянется к благочестию, к чистоте, к смирению и незлобливости, и все противоположное считает грехом. Народу не свойственно уважать то, что разрушает жизнь, — он бессознательно чтит лишь то, что ее строит.

XVII

От г. Горького нельзя ждать голоса народного уже потому, что он описывает не народ в строгом смысле. Его герои не пахари, а бродяги, не только труженики, сколько люди праздные, Это класс столь же далекий от народа, как и интеллигенция. Г. Горький ничуть не скрывает, что это класс, озлобленный до волчьей злости, класс распущенный, развратный. В этом разнородном слое, развязанном от всех уз гражданственности, циническое миросозерцание не только возможно, но даже естественно. Г. Горькому, скажете вы, нечего было учиться у Ницше; принцип — «падающего толкни» — общепринят в среде гибнущих. Бродяги — циники по самой натуре, и не книга научила г. Горького цинизму, а сама жизнь.

Пусть будет так, соглашусь я. Но книга оправдала это жизненное явление для г. Горького. В народной среде, на изломах ее, среди человеческого мусора возникают все заблуждения, которые мы встречаем в книгах, все безумные теории и взгляды, но стихия народная все же относится к ним как к ошибке. «Борьба за существование» в ее грубом виде народу известна, но не пользуется почетом. Циники во сколько-нибудь здоровой местности в народе играют ту же роль, какую Диоген в Афинах²¹: они вовсе не дают тона обществу и далеко не выражают собою духа народного. Циники в народе — тип вечный, но они теряются обыкновенно среди столь же вечных, но более достойных стоиков, платоников, эпикурейцев, христиан. В простом народе г. Горький не мог бы найти санкции для «безумства храбрых». Но в образованном кругу именно в наше время такая санкция напрашивалась. В век нигилизма, дарвинизма, эстетизма, нищезанства, марксизма — да чтобы не найти оправдания зла! Существуют десятки теорий, его оправдывающих, — берите любую!.. И совершенно наоборот, тому, как они принимаются в народе, эти теории несравненно более властны в нашем обществе, нежели вечные идеи стоиков, чистых эпикурейцев, христиан. Наше образованное общество — будем откровенны — испытывает неизъяснимое влечение к цинической морали, к свободе — не только духа, но и тела, к свободе от того нравственного «гнета», который так дорог стоикам и христианам. И это не только у нас: то же вы видите в западной буржуазии, в западной аристократии, всюду, где образуется слой населения, органически оторванный от народной почвы.

Г. Горький со своею голью, может быть, потому так стремительно принят и усыновлен интеллигенцией, что он и в самом деле родствен ей — по интимной сущности духа. Циническое миросозерцание голи — оно нам родно, оно наше. Всмотритесь в этот загадочный класс — в пролетариат народный — вы увидите под внешней грязью совсем знакомые, совсем свои черты. Менее прекрасная, чем Нарцисс, интеллигенция, наклонившаяся над пролетариатом, видит в ней свой же образ, хотя и опрокинутый. В самом деле, что такое босяки? Они — оторванный от народа класс, но и мы — оторванный; мы — сверху, они — снизу. Они потеряли связь с землею и живут случайными отхожими промыслами — и мы также. Они не хозяева и всегда наемники, и мы также. Они бродят по всей стране из конца в конец, от Либавы до Самарканда, от Одессы до Владивостока — и мы также: наша чиновничья интеллигенция с непрерывными переводами, перемещениями бродит не менее золоторотцев,

хоть и получая за это прогоны. Даже в тех случаях, если мы сидим прочно на месте, нас, как босяков, начинает мучить тоска, невыносимая скука: и мы должны бежать куда-нибудь, хоть на время — за границу, на Кавказ, в Крым (куда бегут и босяки). Бродяги постоянно меняют свои квартиры — мы тоже. У многих ли у нас есть дома? Огромная разница, скажете вы: мы сыты, босяки голодны. Однако, все ли мы сыты и всегда ли? И все ли босяки голодны? Питаясь в студенческие годы по кухмистерским, а в поздние — обремененные семьей, — много ли лучше босяков мы питаемся, по крайней мере, в значительной массе? Босяки — народ пьяный и разгульный, — но наша низшая и средняя интеллигенция разве менее пьяна и разгульна? Вы скажете — есть же и трезвые интеллигенты. О, да, — но есть же вполне трезвые босяки, почти или вовсе не пьющие (например, дворянин Промптов из «Проходимца»). С внутренней стороны параллель между интеллигенцией и босяками, пожалуй, еще резче. Босяки не так начитанны, как мы, но почти все они интеллигенты — все мыслят, все имеют свою философию, и буквально ту, как двойник ее наверху. Все они недовольны порядком вещей и держатся за этот порядок: кормятся от него. Все они скептики и материалисты, свободные мыслители, отрицающие культурные предрассудки. С величайшей легкостью они доходят до таких «завоеваний науки», как происхождение человека от скота со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Все мы ни в чем не виноваты и все мы скоты», — говорит герой одного из лучших рассказов г. Горького («В степи»). То, что человек скот и «не более, как ничтожная гнида» («Тоска», с. 311) повторяется очень часто у г. Горького; это один из основных пунктов босяческой философии. Но ведь это же убеждение составляет сердце интеллигентного пессимизма всех времен от Екклезиаста²² до Мопассана. Оторванные от народа классы иначе думать не могут, но сам народ, пока он организован, так не думает. Его органическая связь с землей и стихиями дает ему самочувствие вечной жизни, а такая жизнь есть состояние священное. Человек народной, органической культуры склонен чувствовать себя не «ничтожной гнидой», а сыном Божиим и одинаково — в языческую или христианскую эпоху. Вот эта потеря чувства родства с божеством, чувства первородства своего в мире составляет грустную черту обоих оторвавшихся сословий. Нисколько не удивительно, что голь напоминает интеллигенцию, а интеллигенция — голь. Мирозерцание у них общее и должно быть таким, с оттенками чисто внешними. У интеллигенции побольше

книжного знания, у голи — знания действительной жизни. Заметьте, что сословие босяков и само по себе не лишено образования: тут почти все без исключения грамотны и начитанны хотя бы только в дешевой прессе. Среди босяков огромный процент «бывших» людей, т. е. образованных, но спившихся или просто опустившихся на дно жизни. Этот класс имеет своих офицеров, учителей, чиновников, писателей... Эти «бывшие люди» (см. «Бывшие люди»), опускаясь в отбросы народные, несут туда свой книжный нигилизм, который встречает внизу вполне родственные настроения...

Что же такое г. Горький? Это перебежавшая яркая искра между двумя интеллигенциями, верхней и нижней, — соединяющая их в грозное «безумство храбрых». Это выходец не из народа, и голос его не народный. Но он заслуживает того, чтобы к нему прислушаться.

